

## ДОКУМЕНТЫ И ЛЮДИ

*Милан Шимечка*

### СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

**20 мая 1988 г.**

*В понедельник мне удалось просмотреть Литгазету лишь после ужина. Жадность, с которой я в первое время гласности изучал, к какому пределу правды русские в данный момент пришли, уже несколько притупилась. Еще пять лет назад я бы, наверное, слетел со стула, найдя в советской печати несколько добрых слов о Пастернаке, или увидев написанный кириллицей тезис о том, что Сталин был психопат, маниакально стремившийся убивать окружающих его людей. Но как-то привыкаешь, получая такие крепкие смеси по каплям.*

*Тем не менее, в понедельник вечером я не поверил своим глазам, увидев на пятнадцатой странице рисунок с магической датой „1984“, а над ним по-русски „Джордж Орвелл“. Я прочитал две строки текста и сразу увидел, что это – начало первой главы знаменитого романа Орвелла „1984“. Я встал, мне хотелось что-то сделать – закричать или сам не знаю, что. Я просмотрел заметки редакции и объявление Залыгина, что роман будет полностью опубликован в журнале „Новый мир“. Я шагал по кухне и в мыслях фехтовал сам с собою. У меня не было слушателей, а если бы они и были, то все равно не поняли бы, почему я так возбужден. Ведь они не знали бы, что у меня с Орвеллом свои счеты вот уже почти тридцать лет.*

*Теперь я понимаю, что в перечень условий моего доверия гласности я Орвелла даже не включил; такое условие казалось мне чрезмерным. И вдруг – вот тебе, передо мной все это черным по белому. Лозунги, написанные на фасаде Министерства*

„Правды“: „Свобода — это рабство“. Мой товарищ Уинстон Смит думает, говорит и страдает по-русски! Я почувствовал, что вся моя история, связанная с этой книгой, похоже, понемногу подходит к концу; к концу подходит все, что я о ней написал, завершается и цепь событий, которые связывали с этой книгой мою семью.

Многое из того, что я пережил вместе с Уинстоном, я описал в послесловии к чешскому изданию романа „1984“.\* Оно было опубликовано издательством „Индекс“ в Кельне (ФРГ); послесловие было переведено также на шведский и немецкий языки, а отрывки были опубликованы и на других языках. Этот текст я писал в 1982 г., тогда меня некоторые подробности еще смущали. Моя жена начала переводить роман в 1978 г., когда ее выгнали из университета и когда она со своим знанием английского не могла поступить на работу, потому что следом за ней ходили агенты госбезопасности, которые во всех отделах кадров давали понять, что это может привести к неприятностям. Перевод был затеян как лекарство от депрессии, чтобы помочь преодолеть ощущение, что уже не стоит что-либо делать, и стал семейным хеппенингом. Мы спорили с подрастающими сыновьями о чешских эквивалентах новоречи, сравнивали мир, в котором мы жили, с миром Орвеллова романа. Впрочем, Орвелл уже давно был у нас чем-то вроде домашней кулинарной книги для утоления духовного голода.

В мае 1981 г. мы с женой загорали на горячем песке горы Сандберг над рекой Моравой, с видом на австрийскую сторону. На горе чистыми красками сияли все заповедные степные цветы; даже колючая проволока и сторожевые башни на границе удручали меня на этот раз меньше, чем обычно. Песок скрипел между страницами рукописи, и я думал о том, как бедному Уинстону приходилось убегать с Юлией далеко за город, чтобы избавиться от вездесущих ушей и глаз Полиции Мысли.

Три дня спустя за мной приехала черная Татра-603, и я исчез на год — в тюрьму. Рукопись во время обыска не нашли, она была спрятана в чулане, под вермишелью. Это их разозлило,

\* В этом и следующем номере мы с небольшими сокращениями печатаем русский перевод этого послесловия. — Ред.

и через две недели они пришли снова. Вероятно, они в отсутствие жены и сыновей все пронюхали, потому что уверенно сунулись под вермишель. Забрали они рукопись перевода и приблизительно сорок страниц моего послесловия; этих бумаг мы больше не видели. Одна копия перевода все же сохранилась: ее как раз читала моя племянница, славу Богу, в кровати. Она жила в другом городе, но и туда ворвалась команда с обыском. Однако мужики все же были достаточно воспитанными, чтобы не лезть под одеяло к восемнадцатилетней девчонке. А там-то и лежал Орвелл.

Как я уже писал в послесловии, Уинстон был со мной на всех допросах. Он тихо сидел у меня в ногах, когда я засыпал в камере, стараясь не думать о будущем. В это время жена перепечатала сохранившуюся версию перевода и спрятала ее в погреб, в старое и запущенное противоатомное убежище, где полно крыс. Во время проливных дождей тайник залило водой и от рукописи остались размокшие, склеенные и почти неразборчивые листы бумаги. Жена рыдала, и сыновья, чтобы утешить ее, вложили рукопись по листам в стеллаж для пластинок, а потом сушили эти листы в духовке. Когда я вернулся, мы продолжали работу с того места, где год назад ее пришлось прервать. Но я приобрел опыт Уинстона — прежде неведомое мне пребывание в подземных камерах Министерства Любви. Примирившись с потерей конфискованной части послесловия, я стал писать его заново.

Я вспоминаю это лето с чувством умиления. На даче я вынес пишущую машинку в сад, соорудил из старого столика и старой садовой скамейки рабочий уголок — и писал. Солнце чуть не прожигало бумагу, а я, сумасшедший, портил себе в его колючих лучах глаза. Год одиночества как бы произвел генеральную уборку в моем мозгу. Все, о чем я думал в часы, когда мои товарищи по заключению уже храпели, было аккуратно разложено по полочкам. Никогда, ни до, ни после работа не приносила мне такого ощущения легкости и даже радости. В течение трех недель я написал сто страниц, а потом удалось отослать за границу и мое послесловие и перевод книги. Таким образом, все это удалось опубликовать в юбилейном году Орвелла — 1984-м. Я отмечал все эти совпадения во времени

с тихим удивлением, а иногда думал, что это не могло произойти само собой, что я втянут в эти взаимосвязи какими-то таинственными силами. Ведь в 1948 г., когда Орвелл переставлял цифры этой даты, мне было восемнадцать, я был ничего не ведущим дурачком. Как же я все это успел?

Первый в 1984 г. выпуск лондонского „Таймс“ привел цитаты из моего текста, и я думал: „посмотрим, что будет дальше“, и был доволен. Полиция Мысли, однако, не могла закрыть на это глаза. Уже на второй неделе орвелловского года нас подняли в шесть утра и отвезли в уголовный розыск. Там меня и жену целое утро допрашивали в связи с грабежом на почте. Нам велели вспомнить, что мы делали два месяца назад в день Святой Екатерины, и я вспомнил, что выглянул тогда в окно и сказал жене: „Екатерина со снегом – значит, Рождество будет со слякотью“. Я спросил, как выглядел грабитель, угрожавший пистолетом служащей на почте. Они ответили, что это был молодой человек двадцати-двадцати пяти лет. (Когда его полгода спустя нашли, оказалось, что ему восемнадцать.) Я удивился и сказал, что трудно себе представить, чтобы я мог бы выглядеть как двадцатилетний, и что моя жена тоже вряд ли так выглядит. Но они только смеялись и говорили, что расследование проходит по установленным правилам. Потом у меня отобрали водительские права – и до сих пор не вернули. Нас отпустили обедать. Мы сидели над супом совсем одуревшие; потом пришли к выводу, что это не по Орвеллу, а скорее в манере Франца Кафки.

А потом обо мне писали в газете „Новое слово“, – в нескольких выпусках с продолжениями. Где-то это у меня, наверное, лежит, но искать не хочется. Там писали, что Орвелл был опасный сумасшедший и что я тоже вроде него, и что это связано с тем, что я родился под знаком Стрельца. Но это неправда, потому что я родился под знаком приличных, спокойных и молчаливых Рыб. Автор статьи облил грязью вместе с нами еще одного сумасшедшего, какого-то Рейгана. Ах да, теперь я припоминаю: это тот самый Рейган, который впоследствии стал близким другом супругов Горбачевых.

Ну вот, а теперь ужасная книга Орвелла распространится в сотнях тысяч экземпляров по всей Руси. Ее будут читать

люди, судьба которых еще более схожа с судьбой Уинстона Смита нежели моя. Ее не прочтут те, кого расстреляли, не дав возможности расписать Джин Победы в кафе „Под каштаном“. Кто знает, что ждет их, живых? Хотелось бы, чтобы они осознали, что человек при всех обстоятельствах должен иметь право говорить, что дважды два – четыре.

В данный момент я думаю и о Джордже Орвелле – как он зябко кутался на этом странном острове у западного побережья Шотландии, где было холодно и сыро; как он, с его большими легкими, курил сигарету за сигаретой и писал и писал. Мог ли он надеяться, что когда-нибудь, повесть, родившуюся в его голове, смогут прочесть в стране Старшего Брата? Орвелл был бы сейчас уже глубоким стариком, но мне все-таки жаль, что он не дождал до этих дней. Потому что именно сейчас мне хочется верить, что и его заслуга в том, что сегодня рабство не считают свободой даже в странах, от которых этого никто не ожидал, и что, вероятно, близится время, в котором „существует правда и то, что сделано – то сделано...“

Я рад, конечно же, я очень рад, но в то же время у меня такое ощущение, будто чему-то приходит конец, будто все уходит в будни, становится банальным и теряет привкус приключения. Теперь уже – по крайней мере, в России – книга Орвелла – одна из многих. И я вдруг пожалел об этом. Давно ли я давал эту книгу молодому человеку всего лишь на день? Думается, это было три года назад. Он вернул мне ее утром, с красными от бессоницы глазами, молчал и вид у него был такой, как будто он внутренне сгорел. При свободном распространении книг, похоже, что-то теряется. Будет ли и впредь важно послание, строго охраняемая тайна, которую содержит в себе книга? А что если самым важным окажется, сколько экземпляров этой книги продано? Если я доживу до такого, лучше замолчу, чтобы не выглядеть стареющим чудачком, с волнением вспоминающим времена, когда книги прятали под вермишель.